

ИРИНА ПОПОВА,

доктор философских наук, профессор кафедры социологии Института социальных наук Одесского государственного университета

Моральное оправдание и нормативная составляющая теневых практик (К постановке проблемы)

Abstract

The article presents sociological analysis of shadow practices in the post-soviet space, in Ukraine particularly. The analysis focuses on moral excuses and normative components of shadow practices in the context of value-and-normative grounds of market activity. There are discussed aspects of the shadow practice institutionalization and their realization mechanisms.

Повсеместное распространение теневых практик в постсоветском пространстве — явление, наличие которого практически не требует доказательства. Оно описано в научной и публицистической литературе, пародируется сатириками, тиражируется в многочисленных телесериалах. Однако лишь в самое последнее время теневые практики стали анализироваться в “социологическом ключе”, с использованием социологических категорий и представлений. При этом речь идет, как правило, о российских реалиях (Т.Заславская, М.Шабанова, Р.Рывкина, Л.Косалс, В.Роговин, Л.Гордон, Э.Клопов и др.). Наши отечественные свидетельства на этот счет значительно скромнее и носят в большей степени экономический характер (С.Белая, В.Бородюк, Т.Приходько, В.Юринец, С.Лондарь и др.). Исключение составляет исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии на предприятиях Украины в 1999 году. Оно представляет собой серьезную заявку на глубокое изучение интересующего нас явления, которое должно стать объектом пристального внимания социологов [1].

Достоинства социологического исследования состоят в том, что в данном случае принимаются во внимание многообразные социальные факторы, которые в условиях той или иной *конкретно-исторической, социальной целост-*

ности определяют генезис и масштабы распространения данного явления. Социологические средства *описания* и *объяснения* теневых практик дают возможность осуществить их анализ как *объективно-субъективной* реальности, что, несомненно, имеет преимущество в сравнении с экономическим или правовым подходом. Рассмотрение теневых практик как субъективно-объективного явления обязывает нас обратиться к проблеме взаимоотношения *ценностно-нормативного* и *предметно-практического контекстов* происходящих процессов, а также к пониманию взаимодействия ценностей и норм, взаимосвязи *норм права и морали*. Особую проблему составляет рассмотрение теневых практик как субъективно-объективного явления в условиях трансформации, когда происходит коренное изменение ценностно-нормативного контекста общества, быстрая смена практических форм деятельности, когда *устойчивый характер приобретает противоречивое взаимоотношение между субъективной и объективной сторонами деятельности*. Именно постановка этой проблемы — предмет предлагаемой статьи.

Изучение явления теневизации нашего общества предполагает обращение к процессам, происходившим в 1970–1980 годы, что и делают российские социологи (Л.Гордон и Э.Клопов, Р.Рывкина и Л.Косалс, В.Роговин). Ученые отмечают, однако, что и в более ранние периоды в экономике советского общества присутствовали различные варианты теневизации. Впоследствии через процесс институционализации теневых хозяйственных практик произошла *теневизация всего общества*, которая охватила все сферы общества и все слои населения [2, с. 3]. Л.Косалс и Р.Рывкина, рассматривая различные виды теневизации экономики советского общества, условно выделяют “легкую”, “среднюю” и “тяжелую” теневизацию [3, с. 84]. К первому и второму виду относятся такие получившие распространение еще в советский период явления: несанкционированная дополнительная занятость; так называемые “подснежники” — люди числившиеся на работе, но реально не работающие; валютные операции; бартерные сделки; оказание услуг в частном порядке и др. Воровство, коррупция, рэкет, мошенничество, торговля наркотиками — это тяжелая теневая экономика, которая тоже давала о себе знать, но в меньшем масштабе. После 1980-х годов, когда произошла теневизация всего общества, сфера теневых отношений постоянно расширялась, и как результат “открытая”, “световая” часть жизни, как считает Р.Рывкина, все более сокращалась [2, с. 3].

Остановлюсь на характеристике понятия “теневизация”, чтобы разобраться в том, какие виды деятельности следует относить к теневой практике. Определения и рассуждения по этому поводу относятся, как правило, к теневой экономике. Однако их можно использовать для того, чтобы разобраться в “теневой практике” вообще. Под теневой экономикой понимают:

- создание официально незарегистрированной стоимости товаров (услуг) и отсутствие ее отражения в системе национальных счетов” [4, с. 54];
- всякую экономическую активность, незарегистрированную официально уполномоченными органами и представляющую собой уклад экономических отношений, складывающийся в обществе “вопреки законам и формальным правилам хозяйственной жизни” [3, с. 4];

— “нелегальную экономическую деятельность” (нелегальную сферу и незарегистрированный бизнес) и “скрытую деятельность” (уклонение от уплаты налогов) [1, с. 53–54].

Формы теневой деятельности, характерные для трансформационных условий, чрезвычайно многообразны. Их группируют, выделяя различные виды или типы. В принципе речь идет о том же делении, которое использовалось и при характеристике теневой деятельности в советском обществе (“легкая”, “средняя”, “тяжелая”). Однако “наполнение” видов несколько изменилось. Некоторые из форм бывшей теневой деятельности в настоящее время относятся к нетеневой, формально узаконенной (например, валютные операции). Появились и новые формы теневой деятельности, которых не было ранее и которые связаны с рыночной экономикой. Для обозначения выделенных групп теневой деятельности используются разные термины. Теневую экономику делят на “криминальную” (жульничество, наркобизнес, проституция, расхищение, рэкет) и “параллельную” (сектор домашних хозяйств, неформальная экономика, скрытый сектор национального производства) [4, с. 54]. В некоторых случаях сектор домашних хозяйств (включающих производство товаров на продажу, произведенных в домашних условиях, а также производство некоторых видов услуг) выводят за пределы теневой экономики. Так делает, например О.Белоскурский, называя деятельность такого рода “нестандартизированной экономикой” [1, с. 53].

Наряду с обозначением теневых механизмов как “тяжелых”, “средних” и “легких” их именуют “черными” и “серыми”, относя те и другие к криминальной или полукриминальной деятельности. Легальная же деятельность называется “белой” (или, в просторечии, “лобовой”). Например, В.Радаев, использующий такую терминологию, оценивает удельный вес этих видов предпринимательской деятельности, связанной с импортом (на момент опроса — 2001 год), соответственно как 10%, 70% и 20%. “Мы вправе заключить, — пишет он, — что за малым исключением все основные участники рынка используют “серые” схемы, различаются лишь степень вовлечения и характер самих этих схем” [5, с. 97]. Другими словами, подавляющее большинство предпринимателей используют как легальные, так и нелегальные схемы деятельности. Главное же состоит в том, что “белые” схемы во многих случаях просто разорительны, хотя и не теряют своей привлекательности для значительной части предпринимателей [5, с. 99].

Исследование развития теневой деятельности показывает, что на разных этапах трансформации преимущественное распространение получают те или иные ее формы. Более того, теневые, нелегальные могут выходить из “тени” и переходить в легальную деятельность. Этот переход может быть обусловлен изменением политики, когда власть убеждается в том, что невозможно поддерживать существующие формальные правила. Например, в России в 2001 году произошло фактическое сближение “серых” и официальных схем благодаря введению различных подзаконных актов, смягчивших таможенное законодательство [5, с. 101]. Другим, более впечатляющим примером трансформации видов теневой деятельности является переход от силового предпринимательства (группы, занимающиеся охранной деятельностью и включающие организованные преступные группировки, легальные охранные предприятия и государственные силовые организации, действующие неформально) к бизнес-группам. Условиями такого перехода яв-

ляются капитализация доходов от охранной деятельности и заключение неформального пакта с местными властями [6].

Каждый раз такие трансформации и сложное переплетение схем деятельности обусловлены взаимодействием различных факторов, что предполагает использование именно социологического подхода к изучению теневых практик. Немаловажное значение имеет также то, что последние вышли далеко за пределы экономики и охватили, как уже отмечалось, многообразные сферы деятельности. Для характеристики данного явления Р.Рывкина использует понятие “социальные рынки”, в рамках которых, в отличие от рынков экономических, “результатом теневой деятельности являются не сами по себе деньги или какая-нибудь конвертируемая в деньги материально-вещественная продукция (техника, стройматериалы, оружие, продовольствие, сырье, наркотики), а те или иные изменения в социальных взаимоотношениях участников, социальные эффекты” [2, с. 4] (курс. мой. — И.П.). При этом получение денег не всегда является целью совершающейся сделки. Например, взятка, не дающая финансовую прибыль, а улучшающая среду соответствующего бизнеса; репетиторство, обеспечивающее поступление в вуз и т.п. Деньги не являются и непременным средством достижения цели (теневые кадровые перестановки в высших эшелонах власти, осуществляемые посредством неофициальных и скрытых переговоров; тайные сговоры представителей различных политических фракций и др.). Все это предполагает определенную широту контекста анализа, понимание сложного взаимодействия различных факторов и социальных последствий функционирования теневых практик. Так, Р.Рывкина, понимающая “теневое” широко — как “неформальное”, официально не учитываемое, считает, что *теневые процессы в социальной сфере вторичны по отношению к экономике*. По ее мнению, экономика, являясь источником теневых процессов, “как бы “заражает” ими все сферы общества. В результате оказывается, что теневые процессы выходят за рамки экономики и проникают во все остальные сферы общественной жизни” [2, с. 4].

Корректная постановка рассматриваемой проблемы предполагает анализ используемых при этом категорий и, прежде всего, соотнесение таких пар понятий, как “формальные и неформальные”, “законные и незаконные”, “правовые и неправовые” практики. Такое соотнесение необходимо, в частности, и для корректной типологизации различных социальных практик, выяснения их роли в процессе институционализации теневой деятельности [7, с. 15].

Понятия “формальное” и “законное” (легальное) фактически совпадают, если систему законодательства трактовать предельно широко, понимая под “законным” то, что разрешается законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, издаваемыми органами различных уровней властной вертикали. Взаимоотношение между неформальным и незаконным (внезаконным) несколько сложнее в том случае, когда последнее не понимается как противозаконное. Известно, например, что и в советское время, и теперь широкое распространение получила так называемая неформальная экономика (семейная экономика, мелкое индивидуальное предпринимательство и др. — то, для чего О.Белоскурский использует термин “нестандартизованная экономика”). Выделяют также неформальную занятость (не фиксируемую никакими официальными службами и не учитываемую статистикой), неформальную заработную плату (не проходящую через ведомости и скры-

тую от налогов), неформальные правозащитные способы (обращение за помощью к друзьям, использование подарков и подношений и т.п.). Все эти виды неформальной деятельности могут быть как законными, так и противозаконными. Как пишут Т.Заславская и М.Шабанова, имея в виду различные трудовые практики, “обладание *неформальными* связями и готовность к неформальным способам протестного поведения, включая ... *противозаконные*, — важный ресурс, повышающий шансы работников восстановить свои законные трудовые права в нынешних условиях” [8, с. 10]. Однако как в случае противозаконности таких неформальных действий, так и в случае их легальности (законности) они носят *теневой характер*, а их функционирование приводит, в конечном счете, к серьезным отрицательным последствиям. Например, многие экономические операции, не запрещенные украинским законом (бартерные сделки, деятельность в пределах оффшорных зон и налоговых гаваней) и относящиеся к распространенным вариантам бизнесовой деятельности, наносят экономике Украины наибольший ущерб [4, с. 56]. Возможно, поэтому они и находятся “в тени”, т.е. субъекты деятельности предпочитают ее не афишировать.

Таким образом, теневые (неформальные) практики, складывающиеся “вопреки законам и формальным правилам”, то есть стихийно, могут не означать противозаконности действия в силу того, что они не противоречат законам и формальным правилам, а просто не предусмотрены ими. Для социолога, однако, интересно задаться вопросом, почему они все же носят теневой характер и находятся за пределами “световой” части деятельности. К этому вопросу следует вернуться после соотнесения теневой деятельности с правовым и неправовым поведением. В данном случае можно рассуждать так же, как и в случае сравнения теневого с законным и незаконным. Неправовое — обязательно противоправное. Дело, однако, в том, как понимать право. Если право — это официально установленные нормы и правила, существующие в виде юридических законов и подзаконных актов, различного рода формально-нормативных предписаний и административных решений, то все то, что не охватывается данными нормами, относится к неправовому поведению. Тогда правовое совпадает с формальным, законным, нетеневым, а неправовое — с неформальным, незаконным и теневым (но необязательно являющимся противоправным и противозаконным). Однако в понятии “право” заключена некоторая двусмысленность: и в либеральных концепциях, и в традициях отечественной социально-философской мысли различают формальное и так называемое обычное право. Последнее характеризует обыденные представления о должном и справедливом. И то, что квалифицируется формальным правом как неправовое, с точки зрения обычного права может быть вполне правовой практикой.

Учитывая данное обстоятельство, Заславская и Шабанова предлагают определенную типологию правовых ситуаций в зависимости от соотношения формальных и неформальных норм, относящихся к трудовым практикам. При этом они учитывают “качество” формально-правовых норм (их полноту, непротиворечивость и эффективность), а также характер социокультурных норм (являются ли они противозаконными или нет). Учитывая сочетание различных вариантов формально-правовых и социокультурных норм, можно говорить о “деструктивном” или “конструктивном поведении” [8, с. 7–8]. При этом авторы исходят из того, что *“изучение неправовых практик предполагает сравнение реальных практик не только с действующими*

законами, но и с представлениями граждан о праве и справедливости” [8, с. 6]. Особый интерес для социолога представляют характеристики трех разных видов неправовых действий в сфере труда:

- преимущественно конфликтных, антагонистических (складывающихся между работниками и работодателем, нарушающим их права);
- преимущественно взаимовыгодных (и работники и работодатели получают выгоду за счет государства);
- “солидаристических” (работодатели солидаризируются с работниками, нарушающими законы) [8, с. 9; 9, с. 139].

Возникают, однако, следующие вопросы. Существенно ли различаются эти виды неправовых действий и являются ли какие-либо из них легитимными (одобряемыми) для участников этих практик и, соответственно, “освящаемыми” нормами “обычного права”? Думаю, что существенных различий в этом плане между перечисленными видами нет, ибо все эти практики — результат если не “согласия”, то соглашения (точнее — соглашения) между работодателями и работниками. Даже в ситуации конфликтных отношений работник продолжает их поддерживать, имея в виду личный интерес (например, боится, что его уволят). Однако тогда, как и в случае других видов неправовых действий, неправовые практики функционируют *в силу сложившихся обстоятельств*, а не благодаря тем или иным нормам деятельности, ее регламентирующим. Более того, это относится не только к формальным нормам, но и к нормам неформальным, не закрепленным в виде закона, инструкции, распоряжения. В этом, как мне кажется, состоит важная особенность функционирования теневого практик, осуществляемых в условиях трансформации. Теневые практики осуществляются *не потому, что сформировались соответствующие им нормы деятельности, а потому, что чрезмерно ослабли механизмы, препятствующие ненормативным действиям*. Это фактически подтверждают и конкретные данные, полученные Заславской и Шабановой в результате опроса. “...Абсолютное большинство (83%) работников, однажды очутившись в неправовом трудовом пространстве, — пишут они, — вынуждены там оставаться... *Слабость институционально-правовых механизмов противодействия произволу работодателей (включая и государство) — важный фактор институционализации неправовых практик*” [9, с. 140].

Характеризуя данную особенность теневого практик, замечу, что под неправовыми практиками следует все же понимать то, что не соответствует формальному праву, а последнее целесообразно отождествлять с правом вообще. Что касается обычного права, то речь фактически идет о нравственности, морали. Проблема же соотношения формального и обычного права — это проблема соотношения права и морали, вопрос о нравственной основе права¹. Именно так проблема эта ставилась в отечественной социально-философской и правовой мысли в работах Б.Чичерина, Б.Кистяковского, Л.Петражицкого, Вл.Соловьева, П.Новгородцева. В обыденном сознании правовые и нравственные представления вообще четко не разграничены, при этом обычное право не является собственно правом, а несет некий образ “должного”, “справедливого”, имеющего “оправдание” и предполагающего

¹ Я намеренно обхожу здесь вопрос о соотношении понятий морали и нравственности, не имеющих, как известно, однозначного решения.

“доверие”. И что важно, образ этот в своем общем виде может быть весьма неопределенным, размытым, а также различным для разных социальных групп. Вот почему типологизация неправовых практик сразу по двум критериям (представлениям о формальном и обычном праве), с моей точки зрения, только запутывает суть вопроса. Учитывая же остроту проблемы в современных трансформационных условиях, обусловленную несовершенством законодательства и произволом в самых различных его формах, есть полное основание считать такой подход по меньшей мере несвоевременным, о чем далее будет идти речь¹.

Принципиальным вопросом является также вопрос о том, как понимать институционализацию неправовых практик. Можно ли утверждать, что она осуществляется если и вопреки формальным нормам, то во всяком случае на основании устоявшихся повседневных представлений о должном и справедливом? И можно ли считать, что эти представления в случае институционализации теневого сектора закреплены как культурные нормы и ценности? В более общей форме вопрос можно сформулировать следующим образом: *какова роль культурных норм и ценностей в становлении социальных институтов, и являются ли нормы и ценности (в любом их виде) необходимым основанием институтов, то есть такими их составляющими, без которых процесс становления тех или иных практик не происходит, а практики не превращаются в относительно устойчивые, повторяющиеся формы деятельности?* Особо важен ответ на данный вопрос при изучении становления социальных институтов в условиях трансформации. И если институционализация теневого сектора в той или иной сфере деятельности может осуществляться, не будучи опосредована *нормой данной деятельности*, то какие регулятивные механизмы способствуют поддержанию устойчивости данных теневого сектора практик? Для понимания этого попытаемся разобраться, что обычно имеют в виду, когда речь идет об институтах и институционализации.

Термин “институт”, читаем в словаре, “широко используется для описания регулярных и долговременных социальных практик, *санкционированных и поддерживаемых с помощью социальных норм* и имеющих важное значение в структуре общества” [10, с. 106] (курс мой. — И.П.). Другими словами, институционализация имеет место тогда, когда имеется норма, в соответствии с которой осуществляются повторяющиеся практические действия. Такое понимание института и институционализации характерно для так называемой “ценностно-нормативной” методологии. Для разъяснения данного понимания приведу некоторые высказывания на этот счет Т.Парсонса. Указывая на то, что чаще всего институты “трактуются как гомогенные или устойчивые образцы поведения”, Парсонс отмечает следующее: важно при этом исходить из идеи *санкций*, а также из того, что при институциональном поведении “способы поведения и формы отношений не просто существуют, но воспринимаются индивидом как такие, которые *должны* существовать, то есть явно содержат *нормативный* элемент” [11, с. 137] (курс мой. — И.П.). Аналогичным образом понимается и процесс институционализации, измене-

¹ Замечу, что в статье, посвященной институционализации неправовых практик [9] и почти слово в слово повторившей то, что было в статье, помещенной в журнале “Социологические исследования” [8], авторы (Заславская и Шабанова) опускают данную типологизацию и не называют правовыми практиками то, что не соответствует формальному праву.

ния имеющихся институтов и формирования новых: как процесс варьирования норм, отказа от прежних норм и утверждения новых. Так, П.Штомпка, ссылаясь на предложенную Ф.Знаецким идею “аксионормативного порядка” и солидаризируясь с мнением Г.Джонсона о том, что “концепция нормы является центральной в социологии”, рассматривает изменения институтов и институциональных комплексов как “возникновение, замену или преобразование нормативных структур, включающих, наряду с нормами, ценности и роли” [12, с. 313]. При этом П.Штомпка широко использует мертоновскую типологию форм индивидуального приспособления, осуществленную с учетом соотношения культурных целей и институциональных норм.

Безусловно, процесс трансформации институтов предполагает и формирование новых норм и ценностей, преобразование норм права и представлений о должном и справедливом. Однако характеризовать процесс институционализации (вообще и применительно к теновым практикам особенно) лишь в данной плоскости было бы ошибочно, ибо такой подход односторонен и не вполне адекватен условиям трансформации. Процесс *институционализации практик вообще и теновых в частности может происходить не только не в соответствии с принятыми нормами и ценностными представлениями, но и вопреки им*. Именно такое понимание данного процесса, как мне кажется, наиболее адекватно тому, что происходит в постсоветском пространстве. Важно и то, что собой представляет ценностно-нормативный контекст общества как *феномен культуры*. Понимаем ли мы под нормой культурно закрепленное абстрактное правило, возведенное до уровня представления об “общем благе” и выступающее как *духовное руководство*, предписывающее, как *должна осуществляться данная деятельность?* Либо норма — это то, что *стало привычным* лишь в силу повторяемости и распространенности и не было оформлено в виде абстрактного правила? Различные подходы к пониманию нормы и нормальности проявляются и при характеристике процессов институционализации теновых практик в постсоветском пространстве, что, с моей точки зрения, затрудняет их исследование. В этой связи приведу еще некоторые характеристики данных процессов.

Так, Косалс и Рывкина понимают под институционализацией теневой экономики “закрепление тенового экономического поведения (например, обналачивание денег, теневой вывоз капитала) в те или иные организационно устойчивые формы, признаваемые всеми участниками данной деятельности и транслируемые следующим поколениям занятых данной деятельностью субъектов” [13, с. 13]. Заславская и Шабанова, обращая внимание на то, что в настоящее время идет активный процесс институционализации теновых практик, характеризуют его как “устойчивый, постоянно воспроизводящийся феномен, который интегрируясь в формирующуюся систему общественных отношений (экономических и неэкономических), становится нормой (привычным образцом) поведения социальных акторов самых различных уровней и постепенно интернализуется ими” [9, с. 145]. Норма в данном случае представляет собой привычный, повторяющийся способ деятельности. Однако некоторая двусмысленность содержится в термине “образец”. Например, в статье, посвященной теновизации общества, Рывкина, определяя социальные институты как комплекс социальных ролей и “образцов поведения”, не случайно, как мне кажется, “образцы” берет в кавычки [2, с. 10]. Учитывая то, какой смысл имеет это слово в русском языке (ценностно-нормативный оттенок “желаемого”, “должного”), оно оказыва-

ется в данном случае неуместным, ибо “образец” — это не просто шаблон, а способ, *достойный* подражания. Но так же неуместно трактовать теневые институты как комплекс “ролей”, то есть рассматривать соответствующие действия как исполняемые по определенному, ценностно-нормативному *культурному* сценарию. Данный сценарий обычно определен содержанием общественных идеалов, некоторых абстрактных предписаний, в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность. Такой подход к институционализации теневых практик более определенно выражен у В. Радаева. Отвечая на вопрос о том, в чем состоит процесс институционализации, Радаев придерживается мнения Н. Флигстина, понимающего под институционализацией “превращение *абстрактных правил* в реальные модели стабильного взаимодействия” [5, с. 107] (курс. мой. — И.П.).

Однако большинство теневых практик, получивших массовое распространение, осуществляются не в соответствии с представлениями о должном, желаемом и справедливом (оформленными в виде “писанных” или “неписанных” общих правил), с которыми “сличаются” конкретные действия и которые предполагают те или иные санкции в зависимости от того, как эти действия совершаются. И экономические, и социальные теневые практики не соответствуют не только формальному праву. Они чаще всего противостоят и “так называемому “обычному праву”, проще говоря, моральным нормам поведения. И именно этим (даже в случае законодательной неподсудности) объясняется их теневой характер” [2, с. 6]. Но каким же образом они воспроизводятся, что является внутренним стимулом их осуществления? Отвечая на этот вопрос, позволю себе повторить тезис, сформулированный ранее: в период трансформации общества теневые практики даже при условии их институционализации *осуществляются под воздействием определенных обстоятельств и интересов, в соответствии с логикой самого действия, рассчитанного на достижение успеха.*

Для характеристики процесса институционализации теневой практики в условиях трансформации целесообразно воспользоваться представлениями так называемой эволюционной теории экономики, как это делает М. Завельский. “Эволюционная теория, — пишет он, — трактует селекцию институтов как спонтанный процесс отбора тех из них, которые жизнеспособны, в силу того, что, способствуя росту раскрепощенности и богатства общества, оказываются “социально целесообразными” [14, с. 126]. Речь идет о том, что обычно практикуемые (в силу социальной целесообразности) сочетания различных неформальных действий, *независимо от их легитимации*, получают все большее распространение и приобретают устойчивый характер, то есть институционализируются. Главное, однако, состоит в том, что институционализироваться могут такие формы действия, которые не соответствуют не только установленным формальным законам и правилам, но и повседневным нравственным представлениям, регламентирующим *данную* деятельность (к примеру, представлениям о том, что значит быть хорошим врачом, учителем, руководителем и т.д.). Устойчивость их объясняется тем, что эти формы, будучи теневыми, выполняют в определенном смысле полезные для социума функции — на это обстоятельство указывают практически все исследователи теневых практик. “Формы теневой активности при этом, — пишет Завельский, — бывают *неприглядными*, но сама она по сути оправдана, т.к. порождается постоянным столкновением людей с неспособностью общественного производства синхронно удовлетворять все притязания на те или иные необ-

ходимые им для желаемых занятий внешние ресурсы из-за их текущей недостаточности в отношении суммарных запросов” [14, с. 128] (курс. мой. — *И.П.*).

Примеров, свидетельствующих о полезных функциях теневых практик, предостаточно, а главное — они многообразны и относятся к самым различным их (практик) видам. Одним из таких примеров является функционирование так называемого силового предпринимательства. Силовое предпринимательство как “средство извлечения и увеличения частных доходов групп, владеющих и распоряжающихся средствами насилия”, выступает в роли институциональной среды деятельности для других экономических субъектов. Оно создает условия, делающие “возможным относительно предсказуемое поведение контрагентов. То, что не было своевременно обеспечено слабеющим государством (безопасность, арбитраж, охрана прав собственности), стало сферой специфического частного предпринимательства” [6, с. 110]. Аналогичное “оправдание” имеют и различного рода теневые операции, распространенные в разных видах предпринимательской деятельности. Так, в ряде случаев, чтобы остаться на рынке, “приходится снижать издержки, а это предполагает отказ от легальных схем или использование параллельных схем разной степени легальности” [5, с. 98]. При наличии непосильной налоговой системы неформальные заработки и неформальная занятость обеспечивают выживаемость не только предпринимателей, но и наемных работников, а также лиц, занимающихся индивидуальным трудом. Но данное “оправдание” — это скорее *объяснение через отнесение к функции, а не моральная категория*. Что касается “солидаристических” (в терминологии Заславской и Шабановой) неправовых практик, когда противозаконные действия приносят непосредственную выгоду работникам за счет государства с согласия работодателей, и выгода является необходимой компенсацией за низкую заработную плату либо тяжелые условия труда, то данная практика имеет более сложную природу: она может быть проявлением доброты и справедливости, но может быть и утилитарным средством удержать работника.

Аналогичная ситуация и с так называемыми социальными рынками. Как пишет Р.Рывкина, они “возникают из необходимости решения тех или иных острых актуальных для общества социальных проблем. Поэтому их расширение в определенных условиях практически нельзя остановить. Ведь “тень” возникает там и именно там, где имеются актуальные для общества проблемы, которые не находят открытого, “светового” (т.е. нормального) решения” [2, с. 6]¹. Проникновение теневых практик во все сферы общества приводит к тому, что теневые институты начинают играть системообразующую роль и “не дают развалиться всей социально-экономической системе в целом” [13, с. 15].

Итак, в определенных условиях теневая активность соответствует потребностям функционирования общественного производства. Этим, в частности, объясняется то, что она оказывается более продуктивной, чем формальная экономика, находящаяся “на свету”. Последняя, например, в позднесоветский период (накануне перестройки) в 3–4 раза уступала по продуктивности теневой экономике. Теневая же экономика, на которую приходилось 15–20% производственных ресурсов, давала 42–43% ВВП [14, с. 130]. О том, что в советской хозяйственной системе теневая экономика выполняла важные функ-

¹ Как видим, здесь нормальное понимается как “световое”.

ции, пишут Косалс и Рывкина. Они указывают на две такие функции: экономическую и социальную. Первая состояла в “компенсации дефектов работы официальной советской экономики”. Вторая — “ в обеспечении социальной ниши для предприимчивых людей, которые не могли реализовать себя в официальных структурах” [3, с. 87]. Добавлю, что осознание важных функций теневой активности было одним из доводов в пользу реформирования советского общества. Парадокс, однако, состоял в том, что реформирование привело к расширению масштабов теневой активности, распространению ее на все сферы общества. Объяснить это можно тем, что продолжали оставаться факторы, тормозящие “раскрепощение” общественного производства, препятствующие формированию эффективных легальных форм социальной активности. Более того, те меры, которые должны были создать необходимые условия для проявления такой активности, сами провоцировали распространение теневых практик, их закрепление в различных сферах деятельности.

Наиболее впечатляющими “мерами” такого рода являются способы проведения приватизации. Социологу, как мне кажется, следует обратить особое внимание на два обстоятельства, обусловившие существенные социальные особенности осуществляющейся трансформации. Прежде всего отметим, что на втором этапе приватизации, когда она осуществлялась в достаточной степени интенсивно, “больше половины объектов, перешедших в негосударственный сектор экономики, составили средние и крупные предприятия, что, естественно, деформировало логику процесса приватизации” [15, с. 44]. В других странах сферами “первоочередной приватизации” были торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. Деформация в данном случае состояла в том, что не сформировался субъект рыночного хозяйства, первоначальные накопления которого были бы результатом его *индивидуального труда и личной предприимчивости*. При отсутствии таких накоплений “большая приватизация” (средних и крупных предприятий) за счет “внутренних ресурсов” могла осуществляться преимущественно по “теневому сценарию”. В то же время благодаря так называемой “чековой” или “сертификатной приватизации, которую еще называют “директорской”, формально законные акции осуществлялись посредством различных теневых технологий, которые *противоречили общим интересам*. Эти технологии предполагали, в частности, доведение предприятий до состояния убыточности и развала, создание условий, при которых население (включая рабочих приватизируемых предприятий) за бесценку продавало свои чеки, и т.д. Все эти технологии¹ “повлекли за собой продажу государственного имущества по бросовым ценам, падение производства, ускорение процесса первоначального накопления капитала (придав ему откровенно грабительский характер), фантастически быстрое обогащение узкого круга спекулянтов, директоров и коррумпированных чиновников за счет обнищания

¹ Замечу, что они чрезвычайно многообразны. Например, директорат предприятия, переводя работников на неполную рабочую неделю или отправляя их в неоплачиваемый отпуск, руководствовался при этом не социальной ответственностью перед коллективом, как он утверждал, а опасением, что в случае ухода рабочих с предприятия “на сторону” уйдут и сертификаты, приобретение которых, в конечном счете, обеспечивало директорату владение предприятием. Однако, несмотря на легкие способы обогащения, новые владельцы не располагали капиталами, которые давали бы возможность модернизировать предприятия и запустить их с необходимой степенью эффективности.

большинства рядовых граждан, резкое сужение социальной базы рыночных реформ (вызванное тем, что большое количество социальных страт, которые сначала активно поддерживали реформы, стали связывать свое обнищание с “переходом к рынку”) [16, с. 37].

Обращу внимание в связи с обсуждаемыми здесь вопросами на чрезвычайно интересную статью В.Хмелько “Макросоциальные изменения в украинском обществе за годы независимости”, в которой дан анализ происходящих в Украине объективных процессов, представляющих собой реально-практический фон, который формировал эволюцию “трансформационной субъективности” (термин мой. — *И.П.*). Особый интерес вызывает предлагаемая Хмелько категория “полусобственности”, характеризующая специфические отношения собственности, получившие широкое распространение в постсоветском пространстве. Специфика этих отношений состоит в том, что “...в отношениях настоящей собственности для их субъектов **собственными** являются **не только доходы, но и убытки**, а в тех отношениях, о которых здесь идет речь, **собственными** являются только **доходы**, тогда как **убытки отчуждаются** — “в пользу” всех плательщиков налогов” [17, с. 12].

Характеризуя процессы становления рыночной экономики, подчеркну, что важно разграничивать то, как выглядит приватизация в “идее”, в провозглашаемых целях (в рыночной идеологии), и то, что собой представляют широко используемые “практики” и соответствующие им технологии. Повседневное сознание, как известно, чутко улавливает это расхождение и соответствующим образом реагирует на него, что проявляется в оценках населения. Оценки эти существенным образом обусловлены отношением к теневым практикам, которые функционируют не только вопреки законам и формальному праву, но и вопреки обыденным представлениям о должном и справедливом. Более того, несмотря на то, что значительная часть населения вовлечена в эти практики и *взаимовыгодные* для “верха” и “низа” теневые отношения, сами *эти практики, приобретая устойчивый характер, по-хоже, осуществляются как бы вне культурного ценностно-нормативного контекста общества, вне правового и морального сознания*. Возможно ли это?

Отвечая на этот вопрос, выскажу свое отношение и к феномену “аморальности большинства”, на который ссылается Е.Головаха [18]. Речь идет о том, что, по мнению опрашиваемых, большинство людей, поведение которых они оценивают, нечестны, склонны к обману и не заслуживают доверия. Эти данные рассматриваются как свидетельство аморальности и социального цинизма большинства. Но возможна и другая интерпретация этих данных. Их можно рассматривать и как свидетельство того, что в представлениях наших соотечественников еще присутствуют некоторые разделяемые ими символы-критерии, которые позволяют *осудить* не соответствующую этим идеям практику, что выражается в *отрицательных оценках реальных практик*. Замечу также, что оценки эти относятся не к своему поведению, а к поведению “других”. Думаю, что если бы такие же вопросы относились к самим опрашиваемым, то результаты были бы иными, что, в свою очередь, свидетельствовало бы (в силу явления “каузальной атрибуции”), что *фиксируемые в опросе свойства не относятся к числу одобряемых, признанных в ценностно-нормативном контексте общества*. Оставляя вопрос о моральности либо аморальности большинства наших соотечественников открытым, поскольку приведенные эмпирические данные допускают различную интерпретацию, рискну утверждать, что эти данные можно рассматривать и

как свидетельство того, что распространение теневых практик осуществляется *вопреки* не только формальным правилам (в любом их виде), но и неформальным, нравственным представлениям, культурным ценностям и нормам, в той или иной степени интернализированным населением.

Но каковы тогда механизмы осуществления теневых практик? Связаны ли они вообще с моральным сознанием? Если да, то в чем проявляется эта связь? Если нет, то что собой представляет субъективная сторона данных практик, которая непременно должна присутствовать? Для ответов на данные вопросы полезно познакомиться с другой (в сравнении с эволюционной теорией экономики) теорией, которая является одним из направлений современной французской социоэкономики, — с «теорией конвенции». Суть этой теории в изложении А.Тевено состоит в том, чтобы рассмотреть конвенцию «не как простые коллективные соглашения, которые сводят воедино ожидания, выраженные явно в виде контрактов или неявно в форме обычаев, а скорее как более комплексные координации, действующие на границах более локализованной вовлеченности... Конвенция не является конвергенцией разделяемого знания. Это не что иное, как ограниченное соглашение по поводу отобранных признаков, используемых людьми для контроля за событиями и сущностями. Самым важным в конвенции является то, что это не просто негативное соглашение по поводу того, что считать неподходящим, но общее признание того, что *можно оставить в стороне как не относящееся к делу*. Это признание основано на общем знании того, что нельзя надеяться на более полную согласованность (что предполагается в классических групповых коллективах)» [19, с. 100] (курс. мой. — *И.П.*). Если использовать данные рассуждения для интерпретации данных относительно «аморальности большинства», то более правомерно, как мне кажется, следующее заключение: ценностно-нормативные представления *в принципе* дают основание для того, чтобы рассматривать распространенные практики как «неподходящие» (а потому теневые), однако при решении конкретных задач («в границах более локализованной вовлеченности») они оказываются «не относящимися к делу».

Тевено характеризует различные виды прагматической «вовлеченности», имея в виду взаимосвязь природы, предметной среды и социальности. При этом «вовлеченность в мир» он понимает как «испытание реальностью». Рассматривая различные «режимы вовлеченности», или различные «модели деятельности», зависящие от того способа, которым действующее лицо воспринимает мир (в виде публичной конвенции, функционального режима или режима «близости» и т.д.), Тевено ставит задачу изучения взаимосвязи «между различными моральными порядками и более локальными способами оценивания, воплощенными в объектах, признанных в различных режимах прагматической вовлеченности» [19, с. 85]. Приведу также несколько положений, характеризующих позицию Тевено, понимание которой, с моей точки зрения, полезно в связи с теми вопросами, которые поставлены выше применительно к теневым практикам.

Относя свои размышления к области социологии политики и морали, Тевено обращает внимание не только на то, как *люди* оцениваются в качестве моральных и политических агентов, но и на то, как «*вещи* участвуют в этих оценках». *Учет участия вещей в оценках*, по мнению Тевено, определяет необычность его позиции для политической и моральной философии. Исключение, как он считает, составляют позиции Маркса и Арендт, с которыми, как можно понять далее, Тевено в определенном смысле солидаризируется.

Считая, что “идея взаимосвязи мира объектов и морали является “белым пятном” для социологии”, Тевено вводит понятие “квалификация”, которую определяет как связующее звено “между операциями оценивания и реальными условиями, необходимыми для эффективной вовлеченности в мир” [19, с. 88]. Признавая тот факт, что в принципе люди являются “правовыми моральными существами”, он указывает на то, что в повседневной жизни оценки и переоценки проверяются практикой, что и определяет их динамику. “Основой повседневных споров, — пишет он, — отнюдь не является детерминация действий ценностями. Это, напротив, динамичный и креативный процесс, в котором задействованы новые и “квалифицированные” люди и вещи” [20, с. 90]. Далее эти и аналогичные постулаты Тевено использует для характеристики различных моделей (режимов) деятельности, избрав в качестве примера строительство дороги.

Режим “*публичной конвенции*”, или “*морального оправдания*” означал бы обоснование необходимости строительства дороги как “общего блага”, как деятельности, соответствующей общественному интересу. Этот режим, предполагающий *ценностную ориентацию* на благо, “очень требователен в отношении моральной инфраструктуры и эмоциональной вовлеченности. К счастью, — пишет Тевено, — мы *обращаемся к этому режиму только тогда, когда вовлеченность является предметом публичной критики*” [20, с. 98] (курс. мой. — И.П.). *Функциональный режим* предполагает более частную вовлеченность и “запланированную”, интенциональную деятельность в соответствии с технически оправданным проектом. При таком режиме хорошая дорога — *просто приспособление* для движения транспорта. Наконец, *режим “близости”* — это привычное обращение с относительно знакомыми вещами, образующими местное окружение, это *персонализированная и локализованная* деятельность, которая *не является осуществлением запланированных действий*. При таком режиме дорога — это фактически тропа, которая не проектируется и не планируется как некий функциональный инструмент. “Она возникает как непреднамеренный результат знакомства человека со средой одушевленных и неодушевленных существ. Тропа в такой же степени создается привычной повторяемостью, в какой и топографией местности” [19, с. 101–102].

Можно высказать предположение, что в теновых практиках в условиях трансформации преобладают технологии, подобные “протаптыванию” тропы, в лучшем случае, применительно к некоторым видам данных практик действие осуществляется в соответствии с “функциональным режимом”. Субъективной стороной подавляющего большинства теновых видов деятельности в наших условиях являются не закрепленные культурой ценности и нормы *данной* деятельности, основанные на представлении *об общем благе и общественном интересе*, а характерные для той или иной культуры стереотипы *межличностного* общения, интуитивное, эмоционально оформленное понимание порядочности и честности применительно *к конкретным людям, вовлеченным в соответствующие операции*. Это определяется, в частности, и *персонализированным и локализованным* характером деятельности, осуществляемой в режиме “близости”. Такого рода предположение, безусловно, требует тщательной проверки, проведения соответствующих исследований. Но даже при самом первом приближении к обстоятельствам “теновых сделок” мы сталкиваемся с тем, что они, как правило, предполагают различную степень “интимности” — не от “всякого” чиновник возьмет взятку, не с “каждым” сотрудничают при

осуществлении сделок, а сотрудничая с силовыми структурами, которые помогают вернуть долг либо восстановить любого рода справедливость, верят в личную договоренность (что, впрочем, не всегда оправдывается).

В этом отношении интерес представляют приведенные выше данные о преобладании неформальных способов правозащитного поведения (за помощью обычно обращаются к “своим” — родственникам, друзьям, знакомым). О характере теневых практик свидетельствует также распространение *устной договоренности* между работодателями и работниками при найме и использовании рабочей силы: работа без оформления, совмещение статуса безработных с неоформленной работой, выполнение аккордных работ и др. Осуждению подвергается в данном случае не нарушение трудового законодательства, а нарушение *устной договоренности*. Многие наемные работники, особенно занятые в частном секторе, считают, что “всё, касающееся работы, работодатель и работник должны решать сами, без вмешательства государства” [8, с. 14]. Стереотипы личных взаимоотношений, лежащих в основе “устной договоренности”, как и других способов реализации повторяющихся персонифицированных и локализованных практик, осуществляемых в условиях трансформации, сформировались значительно раньше. Их корни — в межличностном общении традиционного общества. Позже, в советских условиях стереотипы традиционного общества утвердились и получили распространение благодаря технологии *выживания*, которая была связана с раскрестьяниванием и формированием “нового рабочего класса”, а затем с войной и тяжелыми послевоенными буднями.

Однако следует указать не только на сходство, но и на различия таких стереотипов, характерных для советского периода и для настоящего времени. Хотя и в советский период полифункциональная социальная связь, основанная на личном доверии и взаимопомощи, осуществлялась в большей степени в контексте *личного опыта*, а не в соответствии с неким моральным императивом, технология выживания все же “способствовала восприятию идей социализма, содержащихся в официальной идеологии, трансформировав их в “народный социализм” [20, с. 150–151]. Непосредственные условия жизнедеятельности и целесообразность определенных моделей деятельности в этих обстоятельствах обусловили селекцию последних и соединили “первичные” и “вторичные”, “производные” (в терминах М.Рокича) представления, существенно преобразовав идеи, из которых складывалась официальная идеология социализма. Именно таким образом (посредством идей социализма) в повседневном сознании людей стереотипы и технология выживания были связаны с *представлением об общем благе и общественном интересе*. Соответственно, данные стереотипы проявлялись не только в *личных* отношениях, но и в *добросовестном* отношении к труду “на благо общества”, в общественном энтузиазме, в повсеместной заботе о решении *общественных задач*, что, в свою очередь, связывалось с необходимостью достижения *общего блага*¹. Аналогичная ситуация наблюдалась в период формирования западного капитализма, когда (если следовать концепции Вебера), благодаря так называемой рутинизации, происходило превращение харизматических религиозных задач в *мирские, реализуемые большими*

¹ Кстати, об этом свидетельствовали результаты опросов, проводимых даже в 1970-х годах, непосредственно предшествовавших общественному кризису [20, с. 155].

массами людей. Использование данных представлений для характеристики теневых практик в условиях трансформации означает также учет существенной роли “посредников”, которые выступали не только идеологически, но и организационными “проводниками”, переводящими общество из стадии харизмы в стадию рутинизации [21, с. 34]. В постсоветском пространстве такими “посредниками” как раз и являются пресловутые “полусобственники” (в терминологии В.Хмелько). Именно от них зависели способы реализации реформаторских идей при создании той объективной среды, которая не способствовала “одухотворению” реальных практик, их легитимации, оформлению в виде моральных представлений массового сознания. Для характеристики этой среды Хмелько использует еще один удачно подобранный термин, характеризующий складывающиеся отношения как “полупроводниковые”. “Имеются в виду отношения, — пишет он, — которые складываются, если, благодаря тем или иным связям с чиновниками, руководители государственных предприятий получают возможность действовать как своеобразные “полупроводники” финансовых потоков: направлять часть доходов своих предприятий на частные счета, а убытки предприятий покрывать за счет государственного бюджета” [17, с. 12]. Естественно, что “полупроводниковая” посредническая деятельность *блокирует оформление принципов осуществляемых практик в идею “общественного интереса”, “общего блага”, освящающую практическую деятельность*¹.

Изучая субъективную сторону теневых практик, следует помнить, что в опросах фиксируются вербально выраженные представления, существенным образом зависящие от характера “символического универсума”, специфики *уже сложившегося в результате предшествующей деятельности* ценностно-нормативного культурного контекста. Практика настоящего может в той или иной степени отличаться от данных представлений. Особенно велико это отличие в быстро изменяющихся, кризисных условиях. В таких условиях связь первичных и вторичных представлений разрывается. Причем наиболее уязвимыми оказываются вторичные, абстрактные идеи. От них отказываются по мере того, как они вступают в противоречие с повседневным опытом и обуславливающими его обстоятельствами. Например, от идей социализма отказались, а *стереотипы межличностного общения, ранее входившие в систему представлений о “народном социализме”,* продолжают функционировать². Но это означает также, что соответствующие повседневной деятельности стереотипы, оказывающиеся более “живучими”, продолжают функционировать, не будучи “одухотворенными” высокой идеей заботы об общем благе. Соответственно они не являются проявлением ни правового, ни морального сознания и не оформлены в виде определенных языковых символов. И вряд ли следует безоговорочно относить их к сфере обычного права, как это делается в социологической литературе [22, с. 51].

Если обратиться к истории и вернуться к тому, что именовали “обычным правом”, то последнее, несомненно, имеет иную природу. Изучая, как

¹ Замечу, что этот термин кажется мне удачным, так как дает возможность образно охарактеризовать наших “посредников” не как проводников, а как “полупроводников” реформаторских идей.

² Именно этим можно объяснить распространенность так называемых взаимовыгодных и особенно “солидаристических” практик.

функционировало оно в крестьянских сообществах, Т.Шанин показывает, что так называемое обычное право, как и неформальная “моральная экономика”, основано на “понимании того, что есть справедливость”. Именно в соответствии с этим пониманием определялось, “что надо и что не надо делать”. Укорененность “крестьянского” представления о справедливости в материальных условиях и структурах хозяйствования обусловила кристаллизацию соответствующих представлений в абстрактное правило, в *норму долженствования*, в *обычай* традиционного общества. Это был длительный процесс, что объясняет живучесть этих норм. Так, когда в 1910 году законодательным путем пытались изменить устоявшийся обычай, принятый закон практически повсеместно был проигнорирован крестьянами. Земельный кодекс 1922 года, принятый в период нэпа, по мнению Шанина, “просто повторил в главном обычное право”. Более того, “даже в условиях коллективизации в российском законодательстве сохранилась часть законов Земельного кодекса 1922 г. и тем самым элементов обычного права” [23, с. 272].

Можно ли сказать, что нормами аналогичного обычного права, в основе которого лежит более или менее оформленное представление о справедливости и долженствовании, руководствуются агенты теневых практик? Думаю, что нет. Хотя бы потому, что формы деятельности, которые осуществляются в “теневом виде”, являются относительно новыми, не прошедшими длительного испытания временем. Пока еще они не имеют морального оправдания в глазах значительной части населения (в самых различных социальных группах) и потому, собственно говоря, находятся “в тени”. Возможно, это обусловлено тем, что моральное вопрошание все же присуще человеческой природе и интуитивно люди чувствуют *антиобщественный характер этих практик, ущерб, который они, в конечном счете, наносят общему благу*. Об этом ущербе пишут и все исследователи, анализирующие процесс распространения теневых практик. Признавая “естественность” и объективные основания порождения последних в данных условиях, они указывают на многообразные негативные социальные последствия таких практик: усиление социальной дифференциации общества (Заславская и Шабанова), ослабление государства и извращение рыночной и трудовой этики (Гордон и Клопов), отказ общества от цивилизованных правил поведения (Косалс, Рывкина). Это интуитивное постижение *социальной перспективы как раз и составляет основу ценностно-нормативного контекста общества*. Разрушение этого контекста, как можно предположить (в условиях аномии, общественных кризисов), и, соответственно, нарастание неуверенности в завтрашнем дне (фиксируемое в многочисленных опросах) — важная составляющая системы факторов, определяющих распространение теневой деятельности.

Для более глубокого изучения теневых практик и, в частности, для характеристики субъективной их стороны, кроме теоретических представлений, на которые мы ссылались ранее, могут быть использованы и другие известные нам идеи и концепции. Не лишне вспомнить о том, что и общественное, и личное сознание выступают в качестве регулятора поведения не только благодаря своим ценностно-нормативным элементам. В некоторых конкретных ситуациях определяющую роль может играть ненормативное регулирование, не предполагающее формулирование конкретных требований, оценок и санкций. Следует учитывать также, что сами нормы могут быть различными и не обязательно содержат этический смысл. Для понимания природы субъективной стороны теневых практик полезно обратиться также к диспозиционной

концепции В.Ядова¹. Относя ценностные ориентации к одному из уровней сложной диспозиционной системы (высшему в иерархии уровней), Ядов указывает и на регулирующую роль других уровней: *“...на всех уровнях поведения личности, — пишет он, — поведение личности регулируется ее диспозиционной системой, однако в каждой конкретной ситуации в зависимости от цели ведущая роль принадлежит определенному уровню диспозиций или даже конкретному диспозиционному образованию”* [25, с. 27].

Сложность и многообразие субъективной стороны теневых практик, их внутренних механизмов обуславливает и неопределенность, а порой и противоречивость данных, получаемых посредством опросов. Так, Звоновский и Пышкова, считая, что теневые практики (неуплата налогов) регулируются обычным правом, ссылаются на распределение ответов на следующий вопрос: “Кто, по Вашему мнению, заслуживает большего осуждения, тот, кто укрывает от налогов часть своих заработков и доходов, или государство, которое устанавливает налоги, не учитывая интересы своих граждан?” В результате оказалось, что более половины опрошенных осудили государство и лишь менее четверти — налогоплательщиков [22, с. 53]. Думаю, что в данном случае выявилось не столько отношение к неуплате налогов (которое вроде бы характеризуется одобрением в массовом моральном сознании данного явления), а отношение к государству, которое не выступает носителем общественного интереса, защитником общего блага (тем более, что сама постановка вопроса провоцирует такую оценку государства). Интересно также то, что ответы в малой степени дифференцировались по принадлежности к профессиональной группе. Более того, “руководящие работники” в наибольшей степени осуждали государство (66% в сравнении с 52% населения в целом).

По данным украинского мониторинга 2002 года, отвечая на вопрос “На что, по Вашему мнению, готово пойти большинство людей ради больших денег?”, лишь 27% опрошенных признали, что готовы “действовать в обход законов”, а 40% — “пойти на что угодно”. Однако крайне незначительное число опрошенных считали возможным пожертвовать хорошими отношениями с близкими людьми и своим честным именем [26, с. 38]. Но эти данные также допускают самое различное толкование. Во всяком случае, они не свидетельствуют однозначно о том, что теневая деятельность имеет нормативный характер и является ценностно-ориентированной деятельностью.

Сошлюсь в этой связи на представления Ю.Левады о лукавстве советского (и, разумеется, постсоветского) человека. Особенность его, как считает Левада, состоит в том, что он “приспосабливается к социальной действительности, ища допуски и лазейки в ее нормативной системе, то есть способен использовать в собственных интересах существующие в ней “правила игры”. И в то же время — что не менее важно — постоянно пытаюсь в какой-то мере обойти эти правила” [27, с. 509]. По поводу того, что двоемыслие — специфика человека советского, я высказывалась ранее, ссылаясь на П.Бергера и Т.Лукмана, считающих такого рода “раздвоенность” типичной для современного индустриального общества [20, с. 156]. Более подходящими для объяснения распространенности “игры без правил”, как мне кажется, следует признать ссылки Ю.Левады на нормативный “полицентрический релятивизм”, сформировавшийся “на пересечении нескольких исторически

¹ Содержательный анализ диспозиционной концепции В.Ядова дан В.Резником [24].

наслаивающихся друг на друга разломов регулятивных структур” [27, с. 510], и на “многополярную” структуру нормативного поля [27, с. 512]. Но более всего убеждает и подтверждается эмпирическими данными мысль о “разгосударствлении” постсоветского человека, ослаблении идентификации с государственными институтами и символами [27, с. 514]. Об этом свидетельствуют и приводимые Левадой данные: “индекс нормы” имеет наименьшее значение, когда речь идет о “наиболее государственных” обязанностях (служба в армии, уплата налогов). Выше “индекс нормы” (то есть больше осуждающих) по отношению к деяниям, связываемым, как можно полагать, с *коллективными интересами*. Так, “вынос чего-либо с предприятия” осуждают в 2,5 раза больше опрошенных, чем неуплату налогов.

Приведенные данные свидетельствуют о девальвации *общественных интересов* (олицетворением которых являются государственные повинности) и о своего рода “приватизации” жизни наших соотечественников, произошедшей за последние годы. На это ссылаются практически все исследователи, занимающиеся изучением ценностей в трансформационных процессах. Интересно и то, что по данным, на которые ссылается Левада, носителями “нормы”, *фиксирующей общественный или коллективный интерес*, являются пожилые люди: так “индекс нормы” относительно уплаты налогов у тех, кто старше 55 лет, в 8 раз выше, чем у 18–24-летних, а соответствующее соотношение “индексов нормы” по отношению к “несунам” — более чем в 10 раз выше. Данные эти свидетельствуют еще и о том, что указанная девальвация нарастает в той мере, в какой возрастная группа отдалена от советской действительности. То есть, как мне кажется, можно считать, что это не собственно “советское явление”. Причем *в отношении ко всем видам нарушений плавное нарастание сменяется скачком* именно при переходе от группы 40–54-летних на группу 55 лет и старше [27, с. 513–514, 516]. Это группа, первичная социализация которой в основном завершилась ко времени активизации теневых практик, расширения масштабов их использования. В этот период заработал своеобразный механизм обратной связи: ослабление политической и правовой воли, отсутствие надлежащего контроля за исполнением государственных решений и норм права привели к распространению неправовой деятельности. Это, в свою очередь, питало антиэтатистские представления и способствовало девальвации общественных идеалов, которые, в конечном счете, стали рассматриваться как “не относящиеся к делу” при осуществлении повседневных практик, при адаптации к новым жизненным условиям.

Сошлюсь в связи с этим на слова, которые приводит Левада, характеризуя различные способы приспособления постсоветского человека к изменяющейся действительности: “Приходится “вертеться”, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь” [27, с. 473]. Обращая внимание на то, что адаптация такого рода носит явно вынужденный характер, Левада подчеркивает, что это совсем не означает примирения, согласия и *одобрения* ситуации. Оспаривая и *осуждая*, как он считает, общественную ситуацию, “можно искать в ней “ниши” для более спокойного существования” [27, с. 471]. Деятельность в данном случае не регулируется какой-то особой нормой либо *соответствующим данной деятельности* обязательством морального плана. Нормативной составляющей данной практики может являться норма поведения либо моральное обязательство, *относящиеся совсем к иным сферам отношений* (отношений с семьей, близкими и друзьями, конкретными людьми), а сама практика осуще-

ствляется по типу “протаптывания тропы” (в терминах Тевено). Этому соответствует и характер моральности, фиксируемый в опросах (а не отсутствие ее!): “решительное осуждение вызывают нарушение частных обязательств (не возвращать долги), неоплата покупки...” [27, с. 518]. Напомню о приведенных ранее данных украинского мониторинга: “ради больших денег” весьма незначительное число людей готовы пожертвовать хорошими отношениями с близкими людьми и своим честным именем [26, с. 38]. Предприниматели и управленцы, оправдывая свои теневые практики, как правило, ссылаются на то, что это необходимо для “пользы дела”, то есть действуют в “режиме функциональности” (по терминологии Тевено). Руководствуются они при этом нормой профессиональной деятельности, ориентация на которую способствует “успеху дела”. Во всех рассматриваемых случаях имеет место то, что условно можно назвать явлением “замещения нормы” и “переноса ценностного отношения с одного объекта на другой”: норма осуществления определенной практики заменяется нормой отношений с родными и близкими. Моральная оценка, *сопутствующая* теневым практикам, определяется ценностями семейной жизни и дружбы, профессионально выполненной работы. *Именно явления “замещения” и “переноса”, как мне кажется, и являются теми механизмами, которые характеризуют нравственную составляющую и моральное оправдание теневых практик.*

Выяснение того, имеется ли “своя” морально-нормативная составляющая теневых практик, выводит нас за пределы указанной проблемы и обуславливает необходимость более широкой ее постановки: как проблемы *ценностно-нормативного основания рыночной деятельности* вообще и предпринимательской в частности. Более частный вопрос, формулируемый в рамках данной проблемы: можно ли ограничиться *легализацией* данной деятельности, что предполагает создание “хороших” законов и формальных правил, а также строгих механизмов, обеспечивающих их реализацию? Или иначе: есть ли необходимость в *моральном оправдании рыночной деятельности и в оценке ее в соответствии с духовными критериями общего блага и справедливости*? Я думаю, что такая необходимость есть. В поддержку такого заключения сошлюсь на социально-философские публикации, в которых анализируются перспективы утверждения рыночной практики в постсоветском пространстве. При этом авторы публикаций опираются на исторические данные, свидетельствующие о роли идей не только протестантизма, но и конфуцианства, православного сектантства и, наконец, социализма, который был существенным фактором осуществления советской индустриализации [21; 28].

Однако идеи, выражающие общественный интерес, утверждаются и становятся существенной составляющей человеческих практик лишь в тех объективных условиях и при наличии таких реальных структур, которые способствуют удовлетворению данного интереса. “Полупроводниковые” отношения будут постоянно воспроизводить “полулегальные” и нелегальные практики, препятствовать введению *успешной* деятельности в духовный контекст общества, все более отдаляя ее от нравственных ценностей.

Литература

1. Білоскурський О. Неформальна економічна активність: спроба оцінки її масштабів в Україні // Наукові записки. Т. 19. Соціологічні науки. — К., 2001. — С. 51–57.
2. Рывкина Р.В. Теневизация Российского общества: причины и последствия // Социологические исследования. — 2000. — № 12. — С. 3–12.

3. *Косалс Р.Я., Рывкина Р.В.* Социология перехода к рынку России. — М., 1998. — С. 368.
4. *Белая С.* Теневая экономика и ее влияние на структурную трансформацию украинского производства // Экономика Украины. — 2000. — № 10. — С. 54–61.
5. *Радаев В.В.* Легализация российского бизнеса как институциональная проблема // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 95–107.
6. *Волков В.В.* От преступных группировок к региональным бизнес-группам // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 108–119.
7. *Заславская Т.И.* О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 11–121.
8. *Заславская Т.И., Шабанова М.А.* Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России // Социологические исследования. — 2002. — № 6. — С. 3–17.
9. *Заславская Т.И., Шабанова М.А.* Проблема институционализации нетрудовых практик в сфере труда // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 137–147.
10. *Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С.* Социологический словарь. — Казань, 1997. — С. 406.
11. *Парсонс Т.* Пролегомены к теории социальных институтов // Человек и общество: Хрестоматия. — К., 1999. — С. 136–147.
12. *Штомпка П.* Социология социальных изменений. — М., 1996.
13. *Косалс Л.Я., Рывкина Р.В.* Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социологические исследования. — 2002. — № 4. — С. 13–20.
14. *Завельский М.Г.* Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. — 2003. — № 1. — С. 124–130.
15. *Ларцев В.* К проблеме периодизации процесса приватизации // Экономика Украины. — 2000. — № 12. — С. 41–46.
16. *Богиня Д., Волынский Г.* Социально-экономические аспекты большой приватизации: цели и результаты // Экономика Украины. — 2002. — № 12. — С. 35–40.
17. *Хмелько В.* Макросоциальные изменения в украинском обществе за годы независимости // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1. — С. 5–23.
18. *Головаха Є.* Феномен “аморальної більшості” в українському суспільстві: страдянська трансформація масових уявлень про норми соціальної поведінки // Україна — 2002. Моніторинг соціальних змін. — К., 2002. — С. 668.
19. *Тевено А.* Какой дорогой идти? Моральная сложность “обустроенного” человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2000. — Т. 3. — № 3. — С. 84–111.
20. *Попова И.М.* Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. — К., 2000. — С. 219.
21. *Федотова В.Г.* Когда нет протестантской этики // Вопросы философии. — 2001. — № 10. — С. 27–44.
22. *Звоновский В.Б., Пышкова Н.В.* Уклонение от уплаты налогов: отношение населения // Социологические исследования. — 2003. — № 4. — С. 51–57.
23. *Шанин Т.* Обычное право в крестьянском сообществе // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. — М., 2002. — С. 267–274.
24. *Резник В.* Феномен диспозиционной концепции В.Ядова в советской и постсоветской социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2003. — № 1. — С. 71–90.
25. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. — Л., 1979. — С. 264.
26. Украинское общество: от выборов до выборов. — К., 2002. — С. 104.
27. *Левада Ю.* От мнения к пониманию. — М., 2000. — С. 576.
28. *Зарубина Н.Н.* Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии. — 2001. — № 10. — С. 45–56.